



Электронная библиотека
Гражданское общество в России

М. В. Ремизов

Мысль должна соучаствовать в процессе изменений

Электронный ресурс

URL: <http://www.civisbook.ru/files/File/Remizov.pdf>

Перепечатка с сайта Московской школы
политических исследований

<http://msps.ru>

URL: <http://www.civisbook.ru>

М.В. Ремизов

Мысль должна соучаствовать в процессе изменений

— Михаил Витальевич, недавно вы выпустили сборник своих публикаций, который объединили названием “Опыт консервативной критики”. Нас заинтересовала его центральная тема, он и строится соответственно: *Утопия новой России; Утопия новой Европы; Утопия нового мира. Роль утопии как двигателя социального развития? Идеалы, утверждают, исчезли, но утопии и теперь движут людьми в их действиях? Хотелось бы, чтобы вы развили здесь свои представления, попытались прояснить суть и противоречия утопии в современном мире. И прежде всего — что вы имеете в виду, говоря об утопии?*

— Попробую. И сначала — некое теоретическое введение. Вы сразу поставили вопрос об утопии как движущей силе социального развития. Собственно, таково наиболее обиходное критическое понятие утопии. Когда говорят “это утопия”, имеют в виду что-то отнесенное к гипотетическому будущему и что-то невозможное. Такое понятие в социальной философии выражено Карлом Мангеймом. Естественно, он не мог сказать как социолог знания, что утопия — нечто невозможное. Он говорил несколько другому: утопия — это то, что кажется невозможным представителям данного конкретного общественного порядка и что, при своем переходе в практику, взламывает существующие социальные структуры. *Идеалы*, о которых вы упомянули, могут быть вообще лишены такого практического запала. Например, возможна такая идеалистическая установка, которая лишь стабилизирует статус-кво. Сидит в каком-то своем гетто критик и порицает все существующее от имени идеала, но он вписан в сложившуюся систему самым способом своего пребывания в ней. Вот

Мангейм специально об этом говорит, замечая, что не всякая идеальная установка, которая противоречит сложившемуся порядку вещей, является утопической; утопическая лишь та, что действительно имеет практический взрывной запал, способна привести к серьезным системным трансформациям общественных отношений.

Должен сразу сказать, что понятие утопии, которое я взял за основу при структурировании книги, немного другое. Это понятие утопии, которое опирается не на расхожий критический штамп и теоретически восходит не к мангеймовскому определению, а, скорее, к определению, данному в небольшой заметке Карла Шмитта. Он пытается вернуться к этимологически наивному, первичному прочтению слова “утопия” (место, которого не существует, или, скажем так, отсутствие места) и говорит, что утопия — это не какой-то идеал, недоступный либо предполагаемый к реализации в будущем. Нет, не этим специфицировано понятие. Утопия — это способ мыслить общественный порядок, способ утверждать нормы в отрыве от связей пространства, в отрыве от связей конкретного места и времени. В этом смысле утопией, положим, можно считать классическую модель общественного договора. Понятно, что политические философы либерализма довольно быстро внесли пояснения-комментарии к Гоббсу, к Локку: мы вовсе не утверждаем, что когда-то в истории было такое состояние; мы предлагаем модель, которая позволит нам мыслить легитимность общественного порядка. Но эта модель такова, что легитимность общественного порядка, оправданность власти, принципы господства, принципы законности проектируются вне зависимости от локальной идентичности сообщества. Они проектируются как универсальные, вне связей пространства.

Вот такое понятие утопии представляется мне наиболее плодотворным именно для консервативной критики. Я сейчас оставляю за скобками вопрос, как шмиттовское понятие связано с мангеймовским. Вполне возможно, что утопия внепространственного мышления и является чем-то нереализуемым в чистом виде. Но у нас перед глазами пример страны, которая достаточно близка по своему генезису именно к типу утопического проектирования, — это Соеди-

ненные Штаты Америки. Рациональный “утопический” порядок, который учредили американские поселенцы — “общественный договор”, который они заключили, — логически *безграничен* как в пространстве, так и во времени. Он ограничен лишь фактически, но *граница* и сам факт его локализации носят как бы случайный характер. Они не несут собственной смысловой нагрузки в самосознании общества, в конструкциях его политической легитимности. И это естественно, ведь у поселенцев преобладало чисто “количественное” отношение к “новой” и “ничейной” земле. Эта земля ни о чем им не говорила, ничего им не предписывала, она могла быть такой, а могла быть другой. Именно потому она была очень хорошей площадкой для социального проектирования. Вот утопический сценарий создания государства.

— *Но который был реализован.*

— Совершенно верно. Любопытно сравнить в этом отношении спроектированное государство Соединенные Штаты Америки с другим, тоже спроектированным государством — Израилем. Тоже был, что называется, социальный конструктивизм. Когда сформировался и был сформулирован сионизм, эти люди не рассчитывали, что само собой, естественным образом где-то возрастет их государство. Была поставлена четкая задача, которую необходимо было выполнить и для выполнения которой воспользовались благоприятной внешнеполитической конъюнктурой. Но изначально в проект “государство Израиль” была заложена совершенно антиутопическая идея — они ехали именно на конкретную землю, связанную для них с каким-то священным преданием, а разговор о том, какой общественный порядок они там установят, был заведомо вторичным. Таким образом, изначально проект этого государства мыслился в контексте его связанности с определенным пространством, определенной почвой.

Просту говоря, утопия для меня в широком смысле слова — это беспочвенное, неукорененное политическое мышление. И в этом смысле — она везде. Утопические моменты присутствуют в социальных институтах, в тех ролевых играх, которые разыгрываются в политике, и т. д. Со-

циалистическое общество изначально двигалось силой веры в утопию — понятно, что коммунизм тоже в общем-то утопический идеал, причем в обоих смыслах. И в смысле того, что это установка, обращенная в будущее, которая взрывает существующие социальные отношения; и в смысле того, что это программа общественного порядка, принципиально не связанная с локальными особенностями тех или иных мест: коммунизм, предполагалось, может и должен быть установлен везде, где живут люди. Когда обрушилась советская система, возникла атмосфера колоссальной усталости от мобилизационных утопий, усталости от всего, что потребовало бы веры, самоотверженности как от элит, то есть инициаторов общественных движений, так и от масс, которые за ними следуют. Утопия в мангеймовском смысле была дискредитирована: не надо ничего, что способно взорвать, сломать сложившуюся кору отношений, сложившуюся социальную коросту. Но синдром утопического мышления вместе с той усталостью не был устранен. Он остался и более того — усилился. Почему? Потому что изначально идея, которая в том числе разрушала советское общество и советское государство, выражалась в словах: “Посмотрите, как люди живут на Западе”. Преимущества их жизни, достигнутое ими благополучие зиждутся на превосходстве реализуемой ими модели общественного порядка — демократии, и социальных отношений — рыночной модели. Если мы сейчас в сжатые сроки, волевым образом, скажем так, привнесем эти институты в наш социальный контекст, то получим схожие результаты. Ясно, что это действительно утопический способ мышления — мы мыслим общественное устройство вне связей пространства и времени, вне конкретного контекста его возникновения и локальной исторической традиции данного общества.

Мне могут возразить в этой связи: капитализм, собственно говоря, отличается от всех иных способов общественного устройства именно тем, что не требует от людей какой-то специальной веры и, соответственно, не порождает сопутствующей вере усталости. Ну, люди устают верить, ждать, могут разувериться. В этом действительно сила рыночных обществ. Но сама методология мышления, в соответствии с которой трансплантация институтов возмож-

на, — безусловно, утопическая. Мы привыкли считать, что уже сейчас живем в атмосфере деидеологизации. По крайней мере, если судить по публичной риторике власти, по конфигурации наличных общественных сил. В этой атмосфере выдвинут лозунг эффективности, который призван заменить идеологическое кредо. Понятно, что в общем-то это кредо, с которым пришел президент. Его спрашивают: “Какова национальная идея России?” И он отвечает: “Идея эффективной страны”. Это, казалось бы, подчеркнуто антиутопическое мышление содержит в себе колоссальный утопический ингредиент, а именно веру в ту аксиому, тот постулат, согласно которому эффективность может быть достигнута вне и помимо идеологической рефлексии о собственных основаниях, об основаниях того культурно-исторического, геокультурного пространства, где мы живем. В этом смысле сама технократия, идея технологии, самодовлеющей и универсально применимой, безусловно, утопична. Но кульминацией утопического мышления, словом, которое является просто концентратом утопизма, является слово “Запад” — не только для нас, но в общем-то для всего мира. Запад, взятый не как локальная цивилизация (в книге Шпенглера “Закат Европы” он, естественно, взят как локальная культура, которая подвержена точно таким же циклам, как и другие культуры), а Запад как общественный проект, обращенный ко всему миру и основанный на приоритете потребления и рыночных ценностей. Любопытно, что, основываясь на этом универсальном понятии, французские “новые правые” еще в 70-80-е годы выдвинули лозунг “Европа против Запада”. Здесь просто надо уяснить методологическую принципиальную разницу. Европа — исторически существующая культура, которая определяется именно своим культурным наследием, способами его трансляции. Тогда как Запад — это общественный проект, основанный на утопии неограниченного роста.

— *То есть новая дихотомия: Европа — Запад?*

— Да, совершенно верно. Дихотомия, которую пытаются артикулировать европейские, скажем так, патриоты или, говоря конкретнее, культурные фундаменталисты. В этом

смысле противоположной утопизму, чисто методологически, интеллектуальной стратегией для меня является фундаментализм. Это попытка мыслить и выстраивать общественный порядок исходя из того, что есть наше собственное, исходя из исторических корней и границ нашей идентичности, из воссоздания платформы, на которой мы развиваемся. На мой взгляд, критика утопического мышления — это попытка прояснить основания консерватизма в современной ситуации. Консерватизма как самостоятельной политической философии. Как философии, которая не сводится к стремлению сохранить в каждом случае статус-кво (есть такая сильная тенденция толкования консерватизма как стратегии удержания статус-кво). Если все же мыслить консерватизм как самостоятельную политическую философию, как политическую аксиологию — философию ценностей, отличную от либерализма, отличную от социализма, то мы неизбежно возвращаемся к тому “осевому времени”, когда произошло размежевание консерватизма с философией Просвещения. Консерватизм возникает, отталкиваясь от философии Просвещения, и ключевым пунктом, от которого он отталкивается, является политический универсализм Просвещения. Пытаясь оформить собственный стиль политического мышления, консерватизм становится жестким оппонентом политического универсализма.

— *Консерватизм для вас — это современный фундаментализм?*

— С научной точки зрения можно было бы сказать, что фундаментализм в том смысле, как я его сейчас пытаюсь воссоздать и как говорю о нем в книге, — одна из ветвей, одно из направлений консерватизма. Но для меня эти вещи тождественны. Что такое быть консерватором в современной России? Что мы должны консервировать? Достижения ельцинского режима либо останки советского режима? Либо воспоминания о царизме (тут уже только воспоминания)? Обычно этим попрекают всех, кто пытается играть в риторику консерватизма: “Вот вы консерватор. А что вы собрались консервировать?” Ответ, который, к сожалению, наиболее часто дается, положим, идеологами совре-

менного либерального консерватизма: все-таки консервировать статус-кво, чуть-чуть дотянув его до ранга приемлемой реальности. Потому что мы не можем консервировать уж совсем какое-то безвременье. Чтобы консервировать существующий порядок вещей, мы должны ощутить его как порядок, как систему, как закономерность.

— *То есть это, скорее, не консервирование чего-то, а некая попытка не дать бежать слишком быстро?*

— В общем-то вы правы, да. Это попытка играть в обществе модернизации роль такого тормоза, причем очень продуктивную с точки зрения данного общества роль, так как понятно, что некоторые радикалы хотят перепрыгнуть через стадии развития, двигаться слишком быстро, а при таких скоростных перегрузках машина может ломаться. Потому в современном обществе консерваторы статус-кво — это антирадикалы. Те, кто напоминает, что двигаться надо постепенно. Но рельсы, по которым идет паровоз, все равно прокладывают радикалы. Вот, на мой взгляд, парадокс консерватизма статус-кво в современном мире.

— *Не только в обществе переходного периода?*

— Я думаю, это касается не то чтобы всего мира, но всех обществ, для которых политическая культура современности является сколько-нибудь значительной, то есть которые пытаются мыслить себя в политической культуре современности. Исходя еще из Просвещения, Французской революции... А мы в эту игру очень серьезно включились благодаря коммунизму. Консерватизм фундаменталистского толка фактически является альтернативой консерватизму статус-кво. Он вступает в права в ситуации, где уже нет общепризнанной и непрерывной традиции, на которую можно было бы опереться. В этой ситуации уместно предпринимать своего рода “возобновление истоков”, то есть выстраивать дискурс, реконструирующий опорные моменты собственной традиции. Это будет, конечно же, стилизация национальной “самости”, но она жизненно необходима, для того чтобы сохранять целостность общества и вос-

производить его в мире. В нашем случае необходимо возобновление истоков и констант российского цивилизационного опыта. Следовательно, если говорить об актуальной задаче консервативно настроенных интеллектуалов — публицистов, социальных философов, социологов-теоретиков и особенно культурологов, — на мой взгляд, она состоит в том, чтобы произвести сейчас эту самосборку, реконструкцию, заложить прочные основания представления о России как локальной цивилизации.

— *Вы шли от этих теоретических посылок к практике или, наоборот, вас привела к ним практика?*

— Нет, безусловно не от теории к практике. Как раз одна из очень важных для меня методологических презумпций состоит в том, что всякая философия является прежде всего определенной философией действия, философией практики. Поэтому первичный момент — безусловная ангажированность, просто идущая из глубин какого-то социального инстинкта. Политическая ангажированность, которая рационализируется и обрастает философскими эшелонами защиты и инструментарием нападения тоже.

— *Иначе говоря, вы берете как предмет осмысления сегодняшнюю реальность и, притягивая свои философские знания, уже выходите к какой-то конструкции?*

— Нет, корректнее сказать немного по-другому. Первична в этом отношении, в отношении “политика — философия”, для меня, безусловно, политика; но политика, понятая не как ограниченная институциональная область, где происходит борьба за публичную власть, а как достаточно вездесущее пространство борьбы, в том числе за власть. Политика разворачивается в самых разных сферах, включая и сферу мышления. Иными словами, я не противопоставляю политику философии, для меня политика есть то, что структурирует саму философию. Не будем забывать, что и “сова Минервы”, философская птица, является хищной.

— *Политика — это всегда борьба?*

— Да, я склонен переживать политику через приоритет размежевания. Политика — для меня прежде всего размежевание, то есть само мышление есть процесс глубоко полемический. Мышление — это война. В пределе некоторые тексты я пишу просто как интеллектуальные погромы. Хотя это не всегда видно, потому что я остаюсь корректным. Но смысл всегда жестко полемический. В противном случае машина мышления, маховик мышления просто не раскручивается. Поэтому политический аффект для меня первичен, а философская рационализация — вторична. А почему я стал думать и говорить о консерватизме? Дело в том, что консерватизм неверно рассматривать как политическую программу, он не является таковой. Это стиль мышления, внутри которого могут формулироваться те или иные программы. И в качестве стиля мышления я бы противопоставил в данном случае либерализм консерватизму. Я шел от того, что все мои частные оценки, когда я пытаюсь отрефлексировать соединяющую их внутреннюю логику, приводили к критике либерализма как мировоззрения.

— *Вы говорите это, исходя из нашей практики или каких-то трудов либералов?*

— Что касается нашей практики, здесь совершенно особый случай. Положим, такой мыслитель, как Борис Капустин, с симпатией относится к классическому либерализму, но мы найдем мало столь жестких критиков либеральной практики российских реформаторов. Ну, псевдолиберальной, как он скажет. Наверное, практика, да — это первичный контекст, в котором мы живем. Конкретные политические оценки — первичный контекст. И уже от этого мы идем к философским методологиям. Но могу сказать, что, когда я пытаюсь мыслить, работать в этой системе понятий, конечно, я пытаюсь оспаривать либерализм как таковой. Не его искажения, не отходы от него, допущенные нашими реформаторами, а либерализм как таковой, в том числе как утопический способ мышления. Консерватизм же представляет собой иную методологию проектирования политических ценностей.

— *В чем ее плюсы?*

— Плюсы в общем-то связаны именно с тем, о чем я уже говорил: это мышление контекстуальное и это мышление почвенническое. Но мы видим: судьба современного консерватизма такова, что, будучи почвенническим, он одновременно вынужден быть конструктивистским. Другими словами, с одной стороны, мы постулируем, что есть какое-то наследие, которое принадлежит нам как членам данной культурно-исторической общности, как людям, рожденным в российской цивилизации. Факт такой принадлежности — первичный. Но он только ставит проблему — проблему проектирования и адаптации данного наследия к современности. В этой связи в ответ на ваш вопрос, отталкиваюсь ли я от конкретных обстоятельств, от событий либо от теоретических посылок, — должен сказать, что, наверное, тем мегасобытием, точкой отталкивания для меня и моих единомышленников, принадлежащих к моему поколению, является, конечно, крах Советского Союза, понятый как наше поражение в “холодной войне”. Что касается моих эмоциональных переживаний: 21 августа 1991 года стало ясно, что все, поражение страны окончательное и на ближайшие годы бесповоротное; крах ГКЧП — это роспуск Советского Союза.

— *Вот вы говорите: “мое поколение, те, которые близки мне”... Это кто? На какую референтную группу вы ориентируетесь, постоянна ли она? Для кого, интересно, вы пишете?*

— Те люди, о которых я могу говорить как о своих единомышленниках, совсем не обязательно те же люди, для которых я пишу. Ну а пишу я, скажем так, для экспертов в области обществоведения и политической философии, которые могут быть выходцами отчасти из околополитической, отчасти из научной среды. Ни для собственно политической или научной аудитории я, видимо, не совсем правильный и пригодный автор, потому что в первом случае не хватает конъюнктурной заостренности (если просто быть политическим журналистом, то весь философский инструментарий избыточен), а во втором, если быть научным автором, — лишним является политический темперамент. Референтную группу, я, естественно, четко не определяю — она есть

следствие наработанного стиля. Много ли тех, кто близок мне по мироощущению, по трактовке сегодняшних реалий? Думаю, мы сможем ответить на этот вопрос постфактум, положим, лет через десять, потому что важно не то, было ли их много, а то, значимое ли это поколенческое ядро. Если пытаться определить поколение, к которому я принадлежу, именно как историческую единицу (если оно состоит как историческая единица), то, на мой взгляд, тем вызовом, под знаком которого оно начинает себя осознавать и может выйти на сцену, является именно поражение страны в “холодной войне”. В некотором смысле — да, это поколение “детей поражения”. Знаете, у Павича есть очень хороший момент в романе “Последняя любовь в Константинополе”, где он как раз говорит о детях победителей и детях побежденных. И там есть замечательный афоризм: мир никогда не будет принадлежать сыну победителя. Когда я говорю о наследии поражения, я вижу в том залог определенной силы и шанс на успех, потому что в каждой следующей схватке дети проигравших хотят взять реванш. Дети проигравших, которые выросли в тоне мобилизационном, напряженном, которые изначально воспринимают мир драматично, сталкиваются с детьми победителей, растущими в ореоле достигнутого успеха и рискующими почивать на лаврах.

Кстати говоря, если сейчас попытаться воссоздать феноменологию позднего советского общества, то это, конечно, колоссальное почивание на лаврах. Когда я учился еще в начальной школе, то слышал всю эту риторику: “Люди принесли в жертву свои жизни в Великой Отечественной войне, чтобы мы могли жить так, как живем сейчас”. Все очень ценили эту героину, но с собой соотносили ее именно таким образом, что теперь вот можно хорошо жить в Стране Советов. То есть несколько такое успокоенное сознание. Если посмотреть с этой точки зрения, — а это, конечно, плохой социологический метод, но хороший способ мифологизации существующей ситуации, что нам и нужно (я, честно говоря, не верю в нейтральную социологию в условиях столь интенсивной общественной динамики, социология внутренне сращена с мифами), — так вот, если посмотреть на политическую среду сквозь эту призму, то мы увидим, что и в США, и у нас до сих пор у руля стоят поколения, которые

у них стали победителями, а у нас — проигравшими в одной “холодной войне”. Даже нынешние 45–50-летние, пусть они и не были у руля к концу 80-х, зачастую лично *вовлечены* в это событие поражения, они его соучастники.

— *Этому поколению вы противопоставляете свое?*

— Почему моя книга называется “Опыт консервативной критики”? Пока этому поколению мы противопоставляем только критику, потому что альтернативная поколенческая и социальная сила еще не оформилась. В ближайшие годы она будет становиться все более и более отчетливой. И, кстати, в этой связи интересно проанализировать изменения в восприятии советской эпохи. Постепенно наглядные представления о ней, носителями которых являются старшие поколения, уступают место мифическим. И это хорошо, потому что материалом для исторической идентичности является не фактография, а мифология. И очень важно понимать, что советский миф будет для нас не утопическим, а фундаменталистским, не коммунистическим, а консервативным. Он будет говорить нам не об универсальном общественном идеале, а о силе нашей исторической судьбы, о творческом развитии российской цивилизации.

Но здесь есть большой риск. Я говорю о “поколении реванша”, но обычно реваншизм — серьезный упрек в нашей политической риторике. Действительно упрек. И несмотря на то что я вполне принимаю реваншизм как совершенно нормальную социальную и эмоциональную установку, нужно очень четко оговориться, что речь ни в коем случае не идет и не может идти о сохранении, продлении логики “холодной войны”. Именно в нынешних условиях попытки мыслить категориями биполярности, включая попытку подать свою заявку на биполярность для России, были бы в корне неправильными и губительными, потому что именно сейчас, возможно, мы присутствуем при достаточно интересном кризисе цивилизации-гегемона — западной цивилизации. Я отнюдь не утверждаю, что этот кризис фатален, но его симптомы активно обсуждаются. Предположим, это очень тревожные книжки, которые пишут западные консерваторы (европейские, американские) о цветной мигра-

ции. Это, скажем так, достигшее исторического накала осознание угроз терроризма. Все это, на мой взгляд, не есть общемировые проблемы, а именно вызовы тем обществам, которые повязаны логикой западного проекта. Например, если мы возьмем наиболее обсуждаемую тему — тему террористических вызовов, корень опасности не в том, что существуют люди, готовые для реализации своих целей прибегнуть к террористическим методам. Корень в том, что эти люди уверены: прибегнув к таким методам, они будут услышаны. Кроме того, у них нет другого способа коммуникации, возможности поставить беспокоящие их вопросы в повестку дня современных массовых обществ. Иными словами, террор является следствием и функцией символического устройства современных массовых обществ западного типа, которые, с одной стороны, слишком могущественны технически, чтобы против них можно было бороться напрямую, с другой — крайне уязвимы, слабы перед лицом информационно-психологического воздействия.

— *Вы согласны с утверждением, что проблема терроризма — это проблема цивилизационного столкновения, западного (европейского, назовем это так) и исламского мира?*

— С одной существенной оговоркой: да, это конфликт цивилизаций, который является внутрицивилизационным фактором, что крайне важно и что характеризовало, кстати, отношения ислама и Европы, европейской цивилизации, давшей ответвление в Америку, с давних времен. Ислам в общем-то не выдерживал фронтальных, позиционных войн. И сейчас он не может их выдержать. Его стратегией является проникновение в поры цивилизации-гегемона, в том числе мировоззренческое. И в этом сила ислама. Принципиально важно зафиксировать, что разворачивающийся конфликт цивилизаций является именно внутрицивилизационным феноменом и что та угроза, которую представляют для Запада миграции, терроризм, — следствие внутреннего устройства западных обществ. Понятно, что сейчас неоконсерваторы попытаются максимально жестко озвучить эти угрозы и найти на них ответ. На каких путях он может быть найден? На

путях сворачивания просвещенческого универсализма. А если он будет свернут усилиями западных неоконсерваторов, то логически у них останется два варианта: либо, отказавшись от универсализма Просвещения, западная цивилизация должна будет признать себя локальной цивилизацией наряду с другими — и это было бы, конечно, существенным достижением, позволило бы и нам заняться собственным цивилизационным строительством; либо будет продолжаться мировая экспансия, но уже с позиции силы. Сейчас об этом много говорят в связи с ловушкой и кризисом легитимности международных действий Соединенных Штатов. Утверждают, что их политика перерастает в политику голой силы. Почему? Потому что та универсалистская риторика, которой всегда эта политика оперировала, которой она прикрывалась (нормально, когда универсализмом прикрываются какие-то партикулярные интересы), становится в данных конкретных случаях все менее убедительной и все более опасной. Например, проблема демократизации Ирака. Если ваша задача состояла в обеспечении гарантий прав человека в этой стране, в свержении диктаторского режима Хусейна, то, будьте любезны, предпримите широкую демократизацию Ирака. А предпринять это — значит получить гражданскую войну, приход исламских клерикалов к власти, широкое партизанское движение и т. д. Альтернатива — жесткие антипартизанские стратегии колониализма. Но этого не допускает внутриамериканский контекст. Вот на ту или на другую сторону им надо бы и встать. И в данной ситуации, когда возникает кризис легитимности и нарастают противоречия внутри цивилизации-гегемона, лучшее, на мой взгляд, что может сделать Россия — это оставлять их наедине с их проблемами. Иными словами, исповедовать стратегию умного изоляционизма.

О каком изоляционизме идет речь? Изоляционизм — это то, чем пугают, от чего отрекаться. Я же подразумеваю не отказ от рыночного сотрудничества, не отказ от координации действий с теми или иными центрами силы, не отказ от политики союзничества и поиска баланса в тех или иных вопросах с международными партнерами разного статуса. Ничего похожего. Я подразумеваю примерно то, что сжато в известной фразе: “Россия сосредоточивается”.

Обычно она понимается как оправдание просто отступления. В действительности эта фраза была сказана немного в другом контексте: Россия сбрасывает с себя те, скажем так, стратегические, союзнические обязательства, которые она набрала прежде. Это было сказано, в частности, в контексте отказа от политики Священного союза — политики, продиктованной универсалистскими доктринами. Умный изоляционизм в нашей ситуации, в ситуации конфликта цивилизаций (повторю: с оговоркой, что это конфликт цивилизаций как внутрицивилизационный феномен) — признание того, что Россия не является частью какой-либо из враждующих цивилизаций, но является самостоятельной цивилизационной платформой, которая должна быть консолидирована по своему периметру, по периметру СНГ.

По периметру СНГ — не значит “с присоединением” всей Средней Азии. Речь идет не о едином государстве, а о выстраивании эшелонов влияния и обороны. Это совершенно необходимо, потому что, естественно, объединить всех бывших граждан Советского Союза в рамках одного государства, в рамках общей концепции гражданства совершенно непродуктивно. Пришла пора делать градацию разных форм контроля над территорией, населением и т. д. Скажем так: это просто периферия, которая должна быть укреплена. Вот в общих чертах то, что я понимаю под имперским изоляционизмом. И, на мой взгляд, несмотря на то что эта стратегия имеет сугубо оборонительную форму, ее реализация потребовала бы от нашей политической культуры — и от политической культуры элиты, и от массовой политической культуры — достаточно серьезной жесткости и агрессивности. Принципиально важно учитывать соображение, которое все держат в уме: при достаточно слабом уровне освоенности пространств, при очень низкой демографической плотности, при демографическом росте Юга, при энергетическом кризисе Запада будет все сложнее удерживать суверенный контроль над территориями, недрами и т. д.

— *Традиционными способами?*

— В том, что касается категории суверенитета, традиционные способы, я думаю, самые правильные и простые.

Это — юрисдикция, пространственная монополия, контроль нации над пространством, гарантированный присутствием войск. И в ситуации демографического роста Юга и энергетического кризиса Запада жители вот этого российского субконтинента могли бы осознать то, что у них уже есть, а именно пространство, ландшафт, как своего рода сверхценность в современном мире. Принадлежащий нам субконтинент — это наш большой ковчег, пространство геостратегического спасения. У нас широта пространства (о чем хорошо пишет в своих работах А. Филиппов) является внутренним аспектом идентичности, даже внутренней формой исторического сознания русских. Но было бы очень важно дополнить этот аспект широты пространства аспектом его освоенности. Мы воспринимаем пространство за Уралом как “больное” — очень разреженное, плохо освоенное, куда уже начинают проникать “чужаки”, и т. д. Потому, возможно, одной из таких праксиологических компонент национальной идеи могла бы стать идея внутренней колонизации.

— *Всегда в таком случае хочется привести в пример Канаду, где практически все население живет вдоль американо-канадской границы и где столь же разреженные территории.*

— Канада — очень комфортная страна, которая исторически не вовлечена в конфликты (там мало вот этих “ниточек”, тянущихся из истории), у нее комфортное окружение, и ее благополучие пока стратегически и естественно гарантировано Соединенными Штатами. А понятно, что Россия находится в зоне риска в силу своей близости с Югом — исламским и конфуцианским, китайским.

— *Скажите, Михаил Витальевич, а в какой мере мы способны — и способны ли — как-то корректировать идущие процессы?*

— Ну, я изначально заявил, что отчасти я сторонник конструктивистских подходов, несмотря на свой консерватизм. В частности, идеологию Русского ковчега я и рас-

сматриваю как попытку трансформировать реальность, “подложив” под нее сильный центростремительный миф.

— *А в условиях глобализации это возможно?*

— Разумеется, мировая взаимозависимость стала системной реальностью для современных обществ. Причем стала гораздо раньше, чем начались разговоры о “глобализации”. Нужно лишь понимать, что те или иные описания реальности еще не являются ответом на вопрос о нашем месте в ней, о том, будем ли мы субъектом, о том, кто такие *мы*. В частности, новые вызовы, связанные с усложняющимся устройством мира, могут послужить в равной мере как увеличению роли государства — как гаранта *совместного* выживания нации на данной территории, — так и распаду, выхолащиванию государственной формы жизни. Это зависит от нашего политического выбора и нашей способности реализовать свой выбор. Конечно, у социологов есть представления о том, что формы коммуникации и развитие средств коммуникации объективно воздействуют на формы социальной связи, видоизменяя человеческие сообщества. Это очень существенно, так как даже обычное развитие средств связи колоссальным образом увеличивает плотность социальной среды. Сейчас люди еще как-то не очень этим озабочены. Феномен “постиндустриального тоталитаризма” пока в большей степени занимает воображение писателей и субкультур, склонных к паранойе. Но потихонечку, усилиями фантастов, в том числе практикующих, идея универсального “общества контроля” будет приближаться к наглядности. Одной из привлекательных черт идеологии Русского ковчега может стать именно то, что она обеспечит сохранение пространства автономии. Иначе говоря, это одна из стратегий противодействия глобализму на уровне государства-цивилизации.

— *Это же и есть утопия.*

— Это можно назвать утопией в том смысле, в каком о ней говорит Мангейм, — это представление, социальная установка, которая противоречит существующим стерео-

типам здравого смысла, отделяющим “возможное” от “невозможного”. Но сами эти стереотипы подвижны. Одна из задач и стратегий социального конструирования состоит именно в том, чтобы аккуратно смещать представления общества о возможном. Ну, например: до 11 сентября все были уверены, что “боинги” существуют для гражданских перевозок, ножи для резки картона существуют для резки картона, а человек существует для счастья. В локальное время на локальном участке была создана модель, которая опровергла эти стереотипы, и наши представления о возможном существенно расширились. Уже, может быть, не за горами момент, когда благодаря этому в военную доктрину государств широко внедрится представление о комбинированном оружии как особом оружии сдерживания и устрашения, — потому что новая гонка вооружений уже началась. Только, естественно, ее ставкой является не достижение паритета с гегемоном, как раньше было, а попытка удержаться выше того порога, который маркирует неприемлемый ущерб для гегемона. Значит, если американцы летят тебя бомбить, они должны знать, что понесут неприемлемый ущерб. Для этого приходится залезать в военный космос, разрабатывать новые поколения истребителей... Но для тех, кто этого не потянет, всегда есть и более простые средства устрашения. Колоссальная незащищенная коммуникационная инфраструктура современных мегаполисов. Мировой гегемон может просто в какой-то момент понять, что, десуверенизируя то или иное достаточно крупное государство с большими возможностями, он может получить у себя в тылу цепную реакцию диверсий, означающих для него неприемлемый ущерб. Границы представлений о возможном расширились.

— *Приходится часто слышать об утрате старых идеалов и о невозможности возникновения новых. Причем нередко и такие формулировки: “Был идеал коммунизма, но он оказался утопией”. Как все же вы разграничиваете эти понятия? И если действительно нереально сегодня говорить о новых социальных идеалах, то правомерно ли ставить вопрос об утопии новой России, новой Европы, нового мира?*

— Для меня сама категория идеала — это одна из форм утопического сознания, потому что идеал, так или иначе, — нечто привнесенное в действительность, нечто, простите за такое слово, трансцендентное действительности. В истории этики есть характерное разночтение относительно того, в чем состоит нравственность: нравственность как соответствие системе нравов данного конкретного общества или соответствие универсальному моральному закону. Именно поэтому один из специалистов по политической философии мог сказать, что либерализм, или идеология естественного закона, требует норм, по которым можно судить общество; а консерватизм пытается проследить, как в каждом конкретном случае нормы вырастают из самого общества. Вот эта первая позиция, то есть попытка судить общество или конкретную действительность с какой-то абстрактной высоты, и является идеалистической — то есть слабой в настоящее время, поскольку не существует самоочевидной инстанции, от имени которой могли бы провозглашаться “моральный закон”, универсальные нормы. Надо прекратить их провозглашать и пытаться мыслить этику, исходя из существования конкретных исторических общностей.

— *Возвращаясь к выстроенному в вашей книге ряду утопий, попытаемся резюмировать: что же такое утопия новой России?*

— Могу пояснить, почему я говорю об утопии новой России, хотя из сказанного это вытекает. В начале нашего разговора я не случайно упомянул 21 августа 1991 года. Этот день называют днем нашей “бархатной” буржуазной революции. И понятно, что именно этот день — осевое событие истории новой России. Для меня этот день и эта так называемая революция являются ничем иным, как жестом отказа от собственной исторической судьбы. За разговорами о наличии или отсутствии особого русского пути мы забыли, оставили в тени гораздо более важный вопрос — сохраняем ли мы волю к продолжению особой судьбы. Новая Россия — попытка от нее отказаться, примкнуть к лагерю победителей, как он мыслился на тот момент. Уже сейчас ясно, что мыслился он очень наивно и очень далеко от ис-

торической динамики. На тот момент умами реформаторов владела идея начать Россию с чистого листа и на нем написать правильные формулы, вычитанные у Адама Смита. Вот это я называю утопией. Я в данном случае не противопоставляю утопию истине. Истинно в конце концов в истории то, что будет реализовано. Утопия чудовищна не потому, что она нереальна, а именно потому, что может войти в реальность. И в этой связи, еще раз повторюсь, мы уже живем утопически.

Что является утопическим элементом в нашей актуальной идеологии? Попытки интеграции с западным миром. Собственно, это и значит интегрироваться в утопию, верить в возможность трансплантации институтов и систем ценностей, проектирования общественных отношений в отрыве от исторической и культурной преемственности. И ведь нынешнее западничество верит в тиражирование западных технологий успеха посредством тиражирования западных символов потребления. В действительности же все в точности наоборот: чем больше мы принимаем в себя “современные ценности”, тем больше удаляемся от современных технологий. Потому, естественно, мой методологический антиутопизм связан с политическим антизападничеством, которое, кстати, не следует путать с антиамериканизмом. Америка — конкретная страна, а западничеству подвержены интеллигенция да и массы в самых разных обществах. К сожалению, наш правящий слой — тоже. Поэтому могу вам сказать, уже не в плане социологии, а в плане поколенческого психоанализа, в порядке моих наблюдений за средой: одна из идефикс нового поколения — это идея полной, революционной ротации элит.

— *Не могли бы вы несколько подробнее охарактеризовать — психологически, политически — эти два поколения, которые отчасти сейчас противостоят друг другу? Тех, кто осуществлял ту буржуазную революцию 91-го года, и тех, кто намерен их заменить, кто приходит к власти.*

— Честно вам скажу, я плохой феноменолог и не взялся бы за такое эскизное и эмоционально убедительное создание этих портретов. Но я выделил бы две ключевые харак-

теристики, которые категорически неприемлемы для меня в действующем политическом поколении и фактически служат “пунктиками”, питающими миф о национальной революции. Первая черта — экономизм действующего политического поколения, назовем это так. То есть его универсальная стратегия — попытки конвертировать власть в деньги. Деньги считаются более надежным социальным ресурсом. И за этим гораздо более существенная антропологическая черта — гедонизм, желание, находясь в политике, получать от жизни удовольствие прежде всего. Это накладывает неизбежный отпечаток на всю философию жизни. Есть политические элиты, ориентированные на собственное благополучие, а есть — ориентированные прежде всего на власть. Принципиально разные человеческие доминанты. Следовательно, первая характеристика — экономизм, гедонизм, приоритет экономического над политическим, приоритет удовольствия, благополучия над служением и над властью. И вторая характеристика — интеграционизм. Задача действующего поколения элит, их сверхзадача, фоновая задача — интеграция в пирамиду международных элит. На десятых, одиннадцатых, на каких угодно ролях, но именно там они видят гарантии собственного состояния и т. д. Они, может быть, серьезно ошибаются, но пока это так.

Интересно что обе эти черты с точки зрения классической философии элит являются чертами глубоко антиэлитарными. Возьмем первую. Как Ортега писал о том, чем отличается человек элиты от человека массы? Человек массы просто живет и остается доволен собой, он получает удовольствие от жизни. Человек элиты служит, подчас безжалостно по отношению к себе и другим. А вторая черта уже скорее касается гегелевской и ницшеанской философии элиты, где она рассматривалась в категориях раба и господина. Это рабская психология — согласиться на безопасность, будучи десятым, нежели находиться в постоянной зоне риска, но быть первым. Если возможна сколько-нибудь серьезная ротация элит, то она будет иметь смысл только в том случае, если эти две характеристики окажутся пересмотренными. Конечно, я сейчас говорю о политической элите. Анализировать, как подобная проблематика связана с элитой в разных сферах жизни —

творческой, научной, экономической, — особый, очень интересный вопрос, но сейчас я бы за это не взялся.

— *А черты вашего поколения, в противовес действующему?*

— Мы — пока “темная лошадка”. Давать какие-либо характеристики сейчас совершенно бесполезно. Могу сразу оговориться, что позиция, которую я изложил относительно черт действующей элиты, рискует выглядеть романтической — просто вот это не те люди, не те герои, которых мы ждем. Дело не в том. Дело во многом и в структурных характеристиках, и в социальных отношениях. Пока они таковы, что, с одной стороны, преобладает экономическое, а не политическое; с другой стороны, преобладает логика встраивания в мировую элиту, а не логика построения собственной страны “под ключ” (что может быть единственной гарантией безопасности). И та и другая предпосылки могут быть опрокинуты в ходе вполне реальных социальных процессов.

— *Скажите, Михаил Витальевич, вы, по вашей самооценке, оптимист или пессимист?*

— Эмоционально я оптимист, безусловно. Хотя и не считаю, что история должна обходиться с нами мягко. Скажем, то философское поколение, которое мне наиболее близко, поколение немецкого младоконсерватизма — Шмитт, Юнгер, Хайдеггер, Фрайер — в ходе своей жизни потерпело колоссальное поражение. В какой-то момент они с энтузиазмом восприняли национал-социалистическую революцию; примерно в середине 30-х этот энтузиазм был погашен логикой их персональных отношений с системой. Но так или иначе понятно, что поражения во Второй мировой войне были их личные поражения. Эти люди лично подверглись “денацификации”. И интересно, что они — не скажу, что не потеряли оптимизма, потому что в данном случае это плоское слово, — не потеряли нить истории. Они продолжали оставаться внимательными наблюдателями и участниками исторического процесса, постольку, поскольку мыслитель соучаствует в истории, будучи

чувствительным именно к тому новому, что происходит. Фрайер стал одним из первых теоретиков индустриального общества, Юнгер — одним из первых, предложивших осмысление постмодернистской ситуации, Шмитт — одним из первых наблюдателей и системных аналитиков “холодной войны” и “теории партизана”, которая становится актуальной прямо сейчас, и т. д. Таким образом, конечно, если оптимизм, то такой неколебимый, который не рассчитывает на счастье. В этом смысле я оптимист.

— *И вы столь же оптимистично настроены относительно нашего будущего?*

— Я категорически против того, чтобы выступать в жанре прогноза. Потому что отвечать серьезно — значит фактически перейти совершенно в другой регистр обсуждения и начать говорить о текущей политической ситуации, и смотреть, как изнутри нее начинает заявлять о себе какое-то будущее... Скажем коротко: все, чему *стоит быть*, — *будет*. История продолжается. Для меня фигура мыслителя, выходящего на сцену в конце истории, просто логически и эмоционально недостоверна. Мысль должна соучаствовать в процессе изменений, должна быть креативной. Креативность — это фактор социальной практики, сейчас, может быть, становящийся все более значимым. Даже креативность, которая бурлит где-нибудь в современной философии и литературе, имеет серьезные шансы проникать, по крайней мере частями, в дело проектирования и создания будущего. Для меня важно зафиксировать, что пространство политического влияния расширяется. И поэтому даже область интеллектуального влияния понемногу начинает становиться тоже политической областью. Хотя питать иллюзии интеллектуализации политики не следует, естественно.

А.Ю. Ашкеров Философия вершится только здесь и сейчас...

— *Вам самому, Андрей Юрьевич, нет еще и тридцати, а вы уже ряд лет читаете курс студентам философского факультета МГУ и, видимо, лучше, чем многие другие чувствуете эту аудиторию. В поколенческом смысле вас наверняка можно и объединить. Как складываются ваши представления о сегодняшней России и современном мире? По многим оценкам, это поколение аполитично, несколько консервативно — не признает либерализм, все то, за что активно выступало в 90-е годы поколение, которое сейчас у власти, но и не спешит заявлять о своих позициях. Хотелось бы услышать ваше мнение.*

— У меня не сложилось мнение, что мое и идущее следом поколения аполитичны. Это совершенно не так. Но изменились формы политики и политического участия. Мне кажется, что поколенческая разница, даже не то чтобы конфликт поколений, а некая дистанция, которая между ними существует, — вещь обязательная. И мы не вправе требовать от наших потомков, тем более от наших предшественников, чтобы они соответствовали нашим собственным устремлениям. Это просто невозможно. Достаточно представить, как мы бы себя вели, как мы бы сформировались, если бы оказались в совершенно другом историческом контексте. Возникает масса различий, которые никак невозможно подогнать под одну мерку. Сейчас появилась какая-то мода на сериалы из жизни 40–50–60-х годов. Герои абсолютно современны по установкам, по способу существования, если угодно, они помещаются в предшествующий исторический контекст, и сразу становится видно, что это некий монтаж. Очень искусственно, не чувствуется аромата времени.